



П. СТРУВЕ

Спор с Д. С. Мережковским

І. ПЕРВЫЙ ОТВЕТ*

Есть два вида полемики. Один — полемика ради уничтожения противника. Другой — полемика ради раскрытия всех сходжений и расхождений мысли, полемика «по существу».

В своем нападении на меня Д. С. Мережковский отдал дань и первому, и второму типу полемики.

Лучше, чтобы первого не было... Но раз он есть, то необходим и в этом направлении отпор со стороны того, кто испытал нападение. К тому же у полемических эксцессов Мережковского есть своя хорошая сторона, о которой я скажу ниже.

Никакой ни проповеди, ни даже оправдания «зверства» в моей статье не было. Я рассматривал проблему государственного могущества под углом зрения государственности. Для того, чтобы это доказать, необходимо и достаточно привести то место из статьи «Великая Россия», в котором я формулирую основной ее тезис:

«Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его “отношением” или системой “отношений”. Это не уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия.

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридически “самодержавное” или “суверенное”, но и фактически самим собой держащееся государство желает быть могущественным. А быть могущественным значит обладать непременно “внешней” мощью. Ибо из

* Газета «Речь», 1908 г., № 47 от 24 февраля.

стремления государств к могуществу неизбежно вытекает то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборством интересов государств сильных, является в возможности (потенциально) и оказывается в действительности (de facto) добычей для государства сильного.

Отсюда получается девиз, который для обычного русского интеллигентского слуха может показаться до крайности парадоксальным;

Оселком и мерилom всей т. н. “внутренней” политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует т. н. внешнему могуществу государства.

Это не значит, что “внешним могуществом” исчерпывается весь смысл существования государства; из этого не следует даже, что внешнее могущество есть верховная ценность с государственной точки зрения; может быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтобы наш тезис был верен.

Но, если верно, что всякое здоровое и держащееся самим собой государство желает обладать внешней мощью, — в этой внешней мощи заключается безошибочное мерило для оценки всех жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его внутренней политики».

Очертив такими границами свой тезис, я не касался проблемы отношения государства к культуре и нравственности. Это и не было для меня нужно, в виду моих практических выводов. Если бы я в своей статье доказывал государственную необходимость угнетения поляков и евреев, — я был бы обязан тут же показать, как подобные выводы из моей государственной идеи относятся к идеям культуры и нравственности. Но ничего подобного я не доказывал, и потому мне не приходилось расширять своей темы.

Нет в моей статье ни малейшего намека и на ту мысль, которую мне приписывает Мережковский, а именно, что «в преобладании внешней политики над внутренней, силы меча над силой духа, государственной мощи над мощью культурной заключается залог государственного величия».

Проблема государства в окончательной своей постановке соприкасается для меня в настоящее время с проблемой не только культуры, но и религии. И потому «напоминания» Мережковского о «силе духа» отскакивают от меня. Они мне не нужны, как прописи, ибо я знаю, что ни культурно-исторические, ни религиозно-философские проблемы не выясняются и не разрешаются прописями. Когда Мережковский посрамляет меня «зооло-

гическим патриотизмом», то это тоже отскакивает от меня. С «зоологическим патриотизмом» я давно сосчитался не только как практический деятель, но и идейно, еще в той, посвященной памяти Владимира Соловьева, статье «Что же такое истинный национализм?»*, с которой у меня связаны одни из самых драгоценных, незабываемых переживаний моей личной и политической жизни, в статье, которую я прощался с родиной, отправляясь в добровольное изгнание... С тех пор я многое пережил и многому научился. И если я стал отчетливо понимать и ощущать, что такое государство, — то этому научила меня не «превратная эстетика чудовищного», не «картонный ницшеанский инвентарь», а живая и пережитая мною история русской революции.

Нападение Мережковского на меня, наверное, встретит сочувствие и вызовет даже восторг в тех кругах, которым не нравится моя критика русского интеллигентского сознания, которые видят в этой критике «реакционерство» и «черносотенство». Она увеличит мое духовное и политическое одиночество в той среде, которую обычно зовут интеллигенцией. Мережковский смело сближает меня с... Меншиковым. Как ни неудобно в практическом отношении, как ни тягостно подобное непосредственно-политическое и почти личное обострение культурно-философского спора, оно имеет свои хорошие стороны в идейном отношении. Им подчеркивается глубочайшее расхождение идей.

В статье «Великая Россия», я говорил не только о балтийском и черноморском флоте, о сближении России с Англией и т. п. Я отправлялся от идей. И я благодарен Мережковскому за его резкое нападение, потому что оно показывает, что я затронул большое идейное место. В самом деле, суть моей статьи вовсе не в рецептах внешней политики и не в тактических директивах, а в идеях.

К этому я и перехожу.

Мережковский со смелостью, достойною всяческого признания, исповедует свойственный всей русской интеллигенции «враждебный государству дух» и в свидетели этого духа призывает Лермонтова, Герцена и Льва Толстого. «Эти три столь крайние и противоположные точки — Лермонтов, Герцен и Толстой — показывают всю площадь противогосударственной заразы, с которой борется Струве: эта площадь так велика, что истребить за-

* По цензурным соображениям — я находился в то время в административной высылке — она была напечатана под псевдонимом Н. Борисова в «Вопросах философии и психологии» за 1901 г.; перепечатана в сборнике моих статей «На разные темы».

разу — значит истребить едва ли не всю русскую интеллигенцию».

Странным образом Мережковский назвал людей, в сущности, вовсе или почти вовсе не принадлежащих к русской «интеллигенции» в культурно-философском смысле. Я не буду здесь характеризовать Лермонтова и Герцена в этом смысле. Скажу только: Лермонтов и Герцен были противогосударственниками, скорее всего, с точки зрения 3-го отделения.

А Толстой, ведь он не только отрицание государственности, он — воплощенное отрицание и русской «интеллигенции».

Для русской «интеллигенции» — в другом месте я покажу это подробно — характерно противогосударственное отщепенство, но отщепенство безрелигиозное и во имя *общественности*. Толстой же *религиозно* отрицает государство, во имя **личного** подвига, отвергая общественность.

В этом огромная, неизмеримая разница между русской «интеллигенцией» и Толстым. С легкой руки Владимира Соловьева, Волжанского, Мережковского религиозность русской революционной «интеллигенции» стала общим местом, но не сделалась от этого истиной.

Религиозности у «интеллигенции» не может быть вне религиозных идей. Религиозных идей у русской «интеллигенции» никогда не было. Религиозность русской революционной «интеллигенции» есть благочестивая легенда. «Враждебный государству дух» питается у Толстого и у самого Мережковского из религиозных источников. Но у русской-то «интеллигенции» этот дух лишен всякого религиозного питания. Поэтому-то он так беспомощен, убог и противокультурен. Мережковский — повторяю — сам идейно стоит вне русской «интеллигенции». Более того, он сам — «истребляет» ее. Ибо в чем его мечта и жизненное дело? В том, чтобы привить русской «интеллигенции» религию. Ну, а если есть в России «фантастичнейшая сказка, отвлеченнейшая утопия», так это мечта — привить русской «интеллигенции» религию, не истребив идейно «интеллигенцию». Религиозная «интеллигенция» есть твердая жидкость, *contradictio in adjecto* *. Возможны разные компромиссы, но не такие.

Безрелигиозное противогосударственное отщепенство выступает в духовной истории русской «интеллигенции» в двух формах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме — в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и кн. Кропоткин).

* противоречие в определении (*лат.*).

Относительным это же отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. *Исторически* это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же, как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е., в сущности, государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и ступшевывается перед враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и о государстве как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства*.

Присоединяя себя к «враждебному государству духу», проникающему русскую революционную общественность, Мережковский вместе с ней становится перед тупиком. Государство есть важнейшее орудие создания культуры в общественной форме.

С точки зрения общественной культуры самое преодоление государства мыслимо только в формах государства. Враждебность интеллигенции к государству есть психологически величайший тормоз развития культуры.

В этой враждебности, приравнивающей «государство» к «начальству» и отечество к «его превосходительству», «государственное начало» к «старому» или «существующему порядку», сказывается рабья психология, образовавшаяся в невольной отчужденности от государства, которая стала привычным, нормальным, единственным «приличным» к нему отношением. Это, в то же время, полицейская психология навыворот.

Толстой на почве своего внеисторического противогосударственного мировоззрения вполне прав, отрицая государство. Но, как Мережковский, прославляющий и проповедующий общественность, может это делать? Этого я не понимаю. Отрицание государства есть программа либо «неделания», либо разрушения, но не культурного творчества.

Пусть отречение Мережковского от родины не есть бутада банального радикализма, — во всяком случае, это не общественная программа, а личный вопль политического и культурного бесси-

* Приписка к отдельному изданию. Это место было мною заимствовано из написанной в 1907 г. статьи, которая потом вошла в сборник «Вехи».

лия. Этому воплю я противопоставляю строгие и мужественные слова Тургенева, вложенные им в уста Лежнева:

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто, действительно, без нее обходится. Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии».

Возражая мне, Мережковский все танцует от печки «существующего» или «старого порядка». Но ведь в том-то и центр моих рассуждений, что «враждебный государству дух» «интеллигенции» есть порождение «старого порядка». И оба они живы лишь друг другом.

«Всечеловечность» русской интеллигенции, в которую так верит Мережковский, восторгается, по его учению*, тогда, когда Россия вовлечет старый западный мир в свою «абсолютную» и «универсальную» революцию.

Все это старая революционная перелицовка славянофильства и его мессианизма.

Перефразируя Мережковского, я скажу: меня, старого западника, на этой славянофильской мякине не проведешь.

Я западник и потому — националист.

Я западник и потому — государственный.

При всем моем национализме, я настолько уважаю религию и государство, что Оливера Кромвеля ставлю выше Стеньки Разина и Карлейля выше Бакунина. Мне даже стало неловко от сравнительной степени, мною употребленной при сопоставлении этих имен.

Мережковский изливает моральное негодование и иронию на то, что я якобы «благоговею» перед «величием» Бисмарка. У нас принято в широкой публике считать Бисмарка «хищником», а Чемберлена — прямо «мошенником». Боюсь, что Мережковский близок к такому историческому пониманию, хотя ему и чужда та наивно-националистическая точка зрения, с которой производятся подобные оценки. Для меня «величие» Бисмарка есть в известном смысле исторический факт, и я думаю, что Мережковский лучше понимал бы этот факт, если бы сквозь «хищничество» Бисмарка рассмотрел его религию. Ее хватило бы на миллион

* Изложенному им — совместно с З. Н. Гиппиус и Дм. В. Философовым — в их французской книжке, о которой в «Речи» уже писал А. С. Изгоев.

Бакуниных. Историческое величие Бисмарка остается фактом, хотя бы мы к его имени приписали слово «хищник» или даже «Зверь» с большой буквы. «Все мировые хищники, — пишет Мережковский, — оказывались железными колоссами на глиняных ногах». Для политической ориентировки в делах современности следовало бы условиться только, кого признавать «хищниками». Если — как это часто принято опять-таки в широкой публике, где банальный радикализм идет рука об руку с наивным национализмом — «мировыми хищниками» считать Германию (Бисмарка) и Англию (Чемберлена), то я бы — в порядке «феноменальном», а не «ноуменальном», или апокалиптическом — предостерегал бы от веры в глиняный состав ног этих колоссов.

Идеи Мережковского — последняя яркая вспышка славянофильства и в то же время последний *идейный* якорь русского революционизма.

Далеко заброшен этот якорь: в христианский апокалипсис. Есть что-то трогательно детское в этом сочетании апокалипсиса и революционного социализма. Это самая художественная и в то же время самая детская, самая наивная форма славянофильства и революционизма. По точности методов и осторожности Герцен, в сравнении с Мережковским, какой-то Ньютон, Бакунин — какой-то Дарвин. Должен сознаться, апокалиптических теорий Мережковского о русской революции я на французском языке не мог читать без улыбки. Блестящий русский стиль скрадывает наивность мысли. Перевод убивает стиль, и детскость мысли забавно выступает наружу.

В то же время Мережковский и его друзья живо чувствуют и чтут культуру. Мережковский, один из самых «воспитанных» русских писателей, весь пропитан культурой. Это — несмотря на весь апокалиптический революционизм вчерашнего мистического поклонника самодержавия — сближает Мережковского с нами, «кадетами», «либералами», «умеренными».

Марксист Неведомский* с великолепным, истинно «классовым» чутьем в сотрудничестве Мережковского в «кадетских» изданиях усмотрел молчаливый «контрреволюционный» заговор; официозная «Россия», наоборот, может быть, в том же факте завтра усмотрит заговор «революционный». Пусть оба лагеря успокоятся. Нас с Мережковским и людьми подобного типа сближает один только заговор — заговор в защиту культуры. Эта тяга к культуре заставила Мережковского найти на Западе «праведное,

* См.: Современный мир. Февраль. 1908.

мудрое, доброе, *святое* мещанство», и возвысить голос в его защиту против старого русского «варварства» и, «нового русского хулиганства» *. Так уважение к культуре сбивает Мережковского с его славянофильской позиции. И, если бы он к «социально-славянофильской браге» ** Герцена не примешал еще более опьяняющей апокалиптической эссенции, он сам был бы просто «добрым европейцем» из сословия «святых мещан» и хорошим русским... западником.

Да, такова логика идей и игра истории. Самодержавие протянуло жизнь и славянофильству, и революционизму. И до сих пор оно их поддерживает и создает новые их сочетания.

Тургенев в 1867 г. писал Герцену: «Дай Бог прожить тебе сто лет, и ты умрешь последним славянофилом». Теперь Герцену было бы почти сто лет. Я, в 1908 г., желаю Мережковскому тоже прожить сто лет, но в таком случае ручаюсь, что он умрет не славянофилом, и перестанет в Великой России и в русской государственности видеть — волка. Конечно, если он будет не только жить, но и переживать историю.

II. КТО ИЗ НАС «МАКСИМАЛИСТ»?*** НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СПОРА

Мы не можем убедить друг друга. Но зато мы могли бы обозначить для читателя свои позиции с полной ясностью, не допускающей никаких сомнений. К сожалению, ответ Мережковского снова запутывает и затемняет истинное соотношение наших идейных позиций. Конечно, не намеренно, а в силу неспособности Мережковского понять иное отношение к вещам, кроме «максималистского».

Поэтому, вместо того, чтобы признаться в своем религиозно-общественном максимализме, он мне приписывает максимализм «религиозно-государственный». Сам он, правда, чувствует какую-то неуверенность в этом и как будто готов признать меня не максималистом, а прямой противоположностью такого типа, скептиком. Но возражает он мне как религиозно-государственному максималисту. Иронию мою насчет Бисмарка как «Зверя с большой буквы» он, очевидно, не понял, как не понял и того, что

* См.: Речь. 11 февраля. 1908.

** Выражение Тургенева в его письме к Герцену от 8 ноября 1862 г.

*** Газета «Речь», 1908 г., № 66 от 18 марта.

моя точка зрения не требует вовсе «преклонения» ни перед какими идолами Бога и Зверя.

Мережковский, при всем своем замечательном историческом образовании, при всей своей художественной интуиции отдельных исторических эпох, как настоящий религиозно-общественный максималист, верующий в апокалипсис, не способен ощущать историю и мыслить исторически. Он верит в изменения катастрофами, скачками, разрывами. В этих разрывах: революция — реакция, Бог — Зверь противопоставляются друг другу с остротой отвлеченных понятий, между которыми не может быть никакого иного отношения, кроме противоборства. «Превратить реакцию в революцию сверху — это такое же чудо, как превратить камни в хлеб, змею в рыбу». Отрицание «чуда» странно звучит в устах Мережковского. Но по существу гораздо важнее, что *история полна такими «чудесами»*, которые отрицает Мережковский. И г-н Столыпин — пусть он просто-напросто реакционер, водворяющий старый порядок — был бы величайшим чудотворцем, если бы он мог предотвратить ход вещей в таком направлении. Я не считаю г-на Столыпина чудотворцем. Величие Бисмарка состояло именно в том, что он с гениальной смелостью и мощью превратил реакцию в революцию сверху. Но такие «чудеса» — без всяких гениальных людей — с исторической неизбежностью совершались и будут совершаться постоянно в творческом процессе *живой истории* народов. Манифест об освобождении крестьян был *optima forma** издан впервые 31 июля 1774 года Емельяном Ивановичем Пугачевым. Это был акт несомненно революционный, за которым в истории последовала жестокая реакция, длившаяся почти сто лет, пока манифестом 19 февраля 1861 г. эта реакция не превратилась в революцию сверху. Я думаю, что никакая революция сверху не совершается без революции снизу, но, с другой стороны, никакая революция снизу ни к чему не приводит, не захватив верхов...

Пусть история требует для разрешения и завершения своих процессов мучительно долгих сроков. Но и апокалипсиса пока еще не обещают нам без всяких сроков; до сих пор он заставляет себя ждать и в своей богоматериалистической и даже в своей социалистической версии: ни конца мира вообще, ни конца мира буржуазного еще не видится.

Я прекрасно вижу, что понимание государства как «соборной личности» связано с теоретическими и практическими опасностями; эти опасности указаны в моей статье «В чем же истинный

* в лучшем виде (*лат.*).

национализм?» * Но все-таки это понимание правильное и плодотворное, и из-за опасностей, с ним связанных, нельзя живую ткань государства, от колыбели до могилы объемлющую личность, и, несомненно, питающуюся глубочайшими религиозными переживаниями, превращать в мертвое орудие, в безжизненный механизм. Это то варварское противоорганическое и противоисторическое воззрение, на которое еще в 1800 г. с таким пафосом восстал в своих «Монологам» Шлейермахер. Конечно, культура и национальность не создаются только государственностью. Но многие драгоценнейшие плоды культуры и национальности выросли именно на стволе государственности.

Отрицание государства Мережковским апокалиптически и максималистично; мое признание государства исторично и органично. Совершенно верно, что соотношение между государственностью и культурой чрезвычайно сложно. Но разве можно сказать, что македонская государственность просто понизила уровень эллинской культуры? Ясно, кажется, что македонская государственность была повивальной бабкой универсальной фазы эллинской культуры, эллинизма.

А христианство есть если не более, то столько же творение этой фазы эллинской культуры, сколько и еврейской. «Шиллер и Гете невозможны после Бисмарка в объединенной Германии». Почему? Только потому, что они вообще не могут повториться. Но Германия Бисмарка дала Вагнера и Ницше. Важнее, однако, для исторической оценки связи между культурой и государством то, что Бисмарк и объединенная Германия были невозможны без Гете, Шиллера, Канта, Фихте, Вильгельма ф. Гумбольдта и Гегеля, без романтики; что великая национальная культура духовно предвосхитила и подготовила великое государственное объединение, что германское «Weltbürgertum» ** есть материнское лоно национально-государственной идеи. «Ангелы» культуры родили «Зверя» государственности. Такова история. Религиозный мессианизм всечеловеческого, универсалистического характера был воспреемником итальянского национализма и итальянского объединения (Джиоберти). Если государственность несущественна для культуры и национализма, то чем Мережковский объяснит жгучую «тоску по государству» безгосударственных национальностей, немцев и итальянцев до объединения, а в наше время поляков? Культура универсальнее государственности; национальность мягче ее. Но отношение между ними не есть

* В сборнике «На разные темы».

** Мировое гражданство (нем.).

отношение ни антагонизма, ни механического подчинения. Кн. Е. Н. Трубецкой уже указал Мережковскому, что «всечеловечность» и признание национального начала, сочетающегося с государственностью, не противоречат друг другу.

Универсализмом, идеей объективного всемирно-исторического призвания одухотворен и столь часто поносимый английский империализм, который, вопреки мнению кн. Трубецкого, в общем и целом есть движение прогрессивное и проникнутое идеализмом.

Я хорошо знаю, что «Апокалипсис сочетался с революцией» у солдат Кромвеля. Но тут опять-таки в истории «Бог» родил «Зверя», или даже прямо: «Бог» трудился для «Зверя» — я говорю о «Боге» и «Звере» с точки зрения Мережковского. Из пуританского духа английской революции — как это с поразительной ясностью показал в своих замечательных исследованиях Макс Вебер — родился капиталистический дух и экономическая дисциплина английской буржуазии, а Кромвель был творцом «Великой Британии» и ее военно-морского могущества.

Ясно, что с апокалиптическими категориями «Бог» — «Зверь», которыми орудует Мережковский, нельзя подступиться ни к одному историческому явлению. А потому — при помощи этих категорий — нельзя понимать и оценивать и живых, совершающихся при нашем участии, процессов истории.

В споре Мережковского со мною апокалиптическое и отвлеченное понимание противостоит пониманию историческому и живому.

Но этим не исчерпывается наше разногласие. Оно идет еще глубже. Мы разную носим в себе религию. Мы разное понимаем религию и разное ощущаем Бога. Апокалиптическая религия основана на вере в сверхъестественную материализацию Царства Божия. Это тот христианский «богоматериализм», который в России философски основан Владимиром Соловьевым. Но есть другая религия, которая из христианства взяла в качестве основной, определяющей мысли: «Царство Божие внутри вас есть». Это разное понимание религии определяет различное отношение к русской революции и «интеллигенции». С революцией и интеллигенцией Мережковского и субъективно-психологически, и объективно-догматически связывает тот материализм, который заключен в его богоматериалистической религии. На место более скромной социально-экономической феерии капиталистического *Zusammenbruch*'а, верой в которую живут социалисты, он лишь ставит роскошную космическую феерию христианского апокалипсиса. Но то иное, «внутреннее» понимание религии не

знает веры ни в какие феерии, ни в социально-экономическую, ни в апокалиптическую. Поэтому, как это ни странно, оно гораздо ближе к подлинному мистицизму, чем богоматериализм. Ибо мистицизм состоит в прикосновении к тайне, а не в раскрытии ее, не в материальном и всецелом овладении ею. Богоматериализм развертывает религию в материализованные догматы, мистицизм таит ее в интимных переживаниях. Мир объят тайной, но ее никто не может преподнести мне ни на каком апокалиптическом блюде. Поэтому мистицизм всегда сродни тому, что всяческий догматизм, и в том числе богоматериализм, едва ли не презрительно именуется скепсисом: великие тому примеры в литературе: свободные от догматизма мистики — Гете и Тургенев. Подлинный мистицизм отличается тем, что есть некоторая моральная аналогия здорового умственного скепсиса: стыдливостью и мерой. Это необходимо подчеркнуть в наше время, когда именем мистицизма прикрываются бесстыдство и наглая чрезмерность.

Философский итог нашего спора можно формулировать так: *апокалипсис против истории, богоматериализм против мистицизма*. Два различных понимания исторического процесса и религии стоят одно против другого. Между ними не может быть никакого идейного примирения.

Я не буду опровергать воззрения Мережковского на русское государство как на «полупризрачное тело химеры». Воззрение это как общая формула столь неисторично, что против него не стоит и спорить. В этом воззрении, конечно, выражается не «химеричность» самого русского государства, а лишь глубокий противогосударственный или негосударственный дух, разлитый в русском обществе. Согласен, что этот дух — огромная реальная опасность для самого бытия государства. Готов допустить, что он разлит не только в образованном обществе, но и в народных массах. Отсюда, однако, для меня вытекает лишь еще большая обязанность проповедывать идею «Великой России» и работать над ее созиданием. Ведь и самая государственность, если ее понимать не механически, а органически, есть лишь общественное воплощение другой более общей идеи: идеи дисциплины. А без дисциплины невозможна культура.

Что касается печи Навуходносора, то я не желаю сажать Россию ни в какую печь. Но в случае эмпирического осуществления апокалиптической программы Мережковского дело не обойдется без «огненной печи». Недаром «белое каление в мистике дает красное каление в политике». А последнее неизбежно даст «белое каление» уже снова и в «политике».

И со «сковороды» таким порядком мы попадем в целое пекло или даже в последовательные пекла разных степеней каления.

Основная ошибка Мережковского заключается в том, что он ведет спор сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики, в плоскости «Бога—Зверя» и в плоскости... г-на Столыпина. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость. Апокалиптические чаяния и предвидения Мережковского для этих читателей только эмпирический, практически-политический смысл и «вкушаются» ими только с этой точки зрения (см. разные «Свободные Мысли» и т. п.). Но эмпирическое осуществление какой бы то ни было революции только отодвигает во времени, а не устраняет те политические и культурные проблемы, которые я выдвинул в своей статье.

Проблема «Великой России» станет в известном смысле еще несомненное и резче перед сознанием русской нации, когда исчезает политическая злоба текущего дня.

Спор мой с Мережковским ведется, конечно, не об «его превосходительстве», а об «отечестве», не о г-не Столыпине, а о русском государстве. Кстати, формула «Великая Россия» взята в моей статье из речи г-на Столыпина, но если она откуда-нибудь мною действительно *заимствована, как лозунг*, то вовсе не из этой речи, а из книги англичанина Сили «Расширение Англии», изданной еще в 1903 г. в русском переводе по моей инициативе *. Эти классические лекции кембриджского профессора — историческое евангелие английского империализма — оказали на родине автора огромное влияние на умы. У нас они — в эпоху успеха разной макулатуры и полумакулатуры — залежались в книжном складе издательства, и даже в переводе известны только немногим специалистам...

Но, если спор идет не о начальстве текущего дня, не о министре внутренних дел, а о русском государстве и, в конечном счете, о государстве вообще, то кто же из нас «максималист»? Тот ли, кто, как Мережковский, в государстве видит «Зверя», или тот, для кого, как для меня, государство есть великая культурная сила, в борьбе за которую, средствами которой нация упорным, дисциплинированным трудом подымается с одной ступени исторического бытия на другую?



* Издание О. Н. Поповой, перевод В. Я. Герда под редакцией В. А. Герда.